

СТЕФАН ГРАБИНСКИЙ

Искоса

Перевод И. Колташевой

Издательство "Энигма"

OCR: Pasha Keith



Я помню, когда и откуда приблудился ко мне.

Звали его Бжехва, Юзеф Бжехва. Вот имечко! Дерет горло, наждаком скребет по нервам. Бжехва косил. Особенно скверно косил правым глазом — пронзительный леденящий зрачок из-под рыжих ресниц. Небольшая, уродливая, кирпично-румяная физиономия вечно кривилась ядовитой, иронической ухмылкой, как бы мстя столь отвратительным способом за свое плюгавое безобразие. Ржавые усики, нагло торчащие вверх, постоянно шевелились, словно щупальца ядовитого насекомого — острые, колючие, злые.

Гаденький тип.

Ловкий, верткий, будто мяч, среднего роста, ступал легко, пружинисто, неслышно, вкрадывался внезапно, по-кошачьи.

Я не выносил его с первого взгляда. Весь его гнусный облик язвил душу — угадывался пакостный характер.

Трудно найти столь несхожих — я и он — людей во всем: в манерах, склонностях, в отношении к миру. Во всем живая мне антитеза, он вызывал непреодолимое отвращение, и ни за что на свете мне не удалось бы с ним примириться. Возможно, именно оттого, угадывая принципиально-экзистенциональное мое неприятие, он впился в меня с каким-то неистовым иступлением.

Казалось, его снедает жгучее наслаждение, когда он иронически наблюдал мои безнадежные попытки вырваться из его прочных пут. Мне нигде не удавалось от него отделаться: в кафе, на прогулках, в клубе он умело втирался к близким знакомым; женщины, особенно те, с кем у меня завязывалась живая приязнь, благоволили к нему; он безошибочно угадывал малейшее мое желание, предварял малейшее настроение.

Порой, затравленный, я — хоть на день избавиться от ненавистой физиономии! — тайно покидал город — в пролетке или в автомобиле, или, не сказав никому, уезжал куда глаза глядят. Отчаянию моему не было предела: где бы я ни скрылся, передо мной, словно из-под земли, вырастал Бжехва и с глумливо-сладенькой усмешечкой радовался столь неожиданной и приятной встрече.

Мало-помалу подкрался суеверный страх — признаюсь, я страшился, не демон ли Бжехва, не мой ли злой дух. Кошачьи повадки, непристойно и многозначительно подмаргивающий правый глаз, особенно же леденящие, неведомой угрозой косящие зрачки сковывали душу неизъяснимым ужасом и вместе с тем вызывали яростное негодование.

Он всегда ловко умел привести в бешенство, затронуть самую уязвимую струну. Разгадав мои склонности, выпытав мнения и взгляды, пользовался любой возможностью с издевательской иронией переиначивать все навыворот, а наглое самодовольство, точно некая последняя инстанция, заранее исключало всякое публичное несогласие с ним.

Самый ожесточенный спор всегда вызывала проблема индивидуальности, адептом индивидуализма я всегда был жарким и самозабвенным. Пожалуй, весь наш антагонизм сосредоточился на этой оси.

Я страстно поклонялся всему самобытному, оригинальному, неповторимо прекрасному; Бжехва не терпел любое проявление индивидуальности, субъективное низводил до химеры

самонадеянных глупцов; отрицал творческий импульс, изобретательность и все сводил к влиянию среды, расы, так называемого духа времени и тому подобному.

— Допускаю, следственно, — цедил он не раз, кося в мою сторону, — в каждом человеке несколько индивидов тузят друг друга за обладание жалкими останками какой-то там души.

Столь явный выпад, разумеется, провоцировал на бурную отповедь. Но, разгадав его замысел, я делал вид, будто ничего не слышу, игнорировал вызов. Он поджидал нового случая, дабы продемонстрировать, как он выражался, свою «общественную» позицию.

Стоило мне увлечься новым произведением искусства или научным открытием, Бжехва цинично и самоуверенно разглагольствовал насчет беспочвенности моих восторгов, а то молча усаживался напротив, пригвоздив меня пронзительным косящим зрачком, и желчная ироническая усмешка кривила его губы.

По-видимому, эстетическое наслаждение во-обще было ему не доступно, прекрасное равно не трогало его. Зато был он типичным снобом от спорта. На автомобильных или мотоциклетных гонках, на футбольных матчах витийствовал среди самых рьяных болельщиков. Мастерски фехтовал, великолепно стрелял, считался первоклассным пловцом. Науку и ученых игнорировал, придерживаясь расхожего мнения — *nihil novi sub sole* (ничего нового под солнцем (лат.)). И все-таки Бжехве не откажешь в уме — его сарказмы снискали немалый успех. Натура вспыльчивая, не признающая чужого мнения, он вечно вызывал скандалы, часто дрался на дуэлях и всегда оставался победителем.

Удивительное дело — со мной он никогда не выходил из себя: безропотно сносил грубые, а то и просто оскорбительные замечания, нередко спровоцированные его же поведением. Я обладал привилегией безнаказанно оскорблять Бжехву. Видимо, он даровал мне своего рода индульгенцию за постоянные насмешки и преследования. Впрочем, не уверен: возможно, существовал иной, более глубокий повод.

Порой я умышленно перебирал всякую меру, вынуждая всерьез разделаться со мной, и, хотя бы таким способом, порвать тягостные отношения. Не тут-то было! Неистощимо проницательный, он отвечал наисладчайшей улыбочкой на моральные пощечины и все обращал в шутку...

И все-таки я отделался от него. Случай, казалось, навсегда избавил меня от этого человека. Погиб он внезапно, смертью насильственной. Невольной причиной оказался я.

Однажды, доведенный до отчаяния, я ударил его по лицу. В первый момент Бжехва не сдержался, побледнел как полотно, и тогда, единственный раз, в его глазах метнулся странный стальной блеск. Одно лишь мгновение — и тотчас овладев собой, он положил мне на плечо дрожащую руку; голос еще прерывался, когда он сказал:

— Не следует забывать. Этак вы ничего не добьетесь. И вообще ни я вас не могу оскорбить, ни вы меня. Видите ли, дорогой мой, ведь не в состоянии же вы дать пощечину самому себе. Мы с вами едины...

— Подлец, — пробормотал я сквозь зубы.

— Полноте. Гневом делу не поможешь.

И начал ужасно косить.

Скандал, однако, имел серьезные, трагические последствия. Стычка произошла в присутствии знакомых, и очевидцы перестали с Бжехвой здороваться. Он безумствовал, закатывал все новые скандалы, наконец вынудил некоего заядлого своего недоброжелателя стреляться. И меня, в сущности зачинщика ссоры, Бжехва все-таки просил быть секундантом. Я отказался и предложил свои услуги противной стороне, хотя отнюдь не симпатизировал оппоненту Бжехвы. Умышленно и давно искал я случая хотя бы через кого-нибудь сойтись с моим преследователем. Мои услуги приняли, и поединок на весьма суровых условиях состоялся в пригородной рощице. Бжехва пал, смертельно раненный в голову.

Его последний взгляд предназначался мне: косой, леденящий, парализующий. Вскоре он испустил дух. Я поспешно удалился, не смея смотреть в мертвое, дьявольски искаженное лицо. Но маска эта навечно запечатлелась в памяти, и косящий взгляд вечно стальным

кинком будет пронзать душу.

Смерть Бжехвы, особенно его агония, потрясла меня столь сильно, что вскоре я слег с воспалением мозга. Болезнь затянулась на месяцы; когда героическими усилиями врачей, постоянно опасавшихся рецидива, наконец поднялся с одра болезни, я сделался совсем другим человеком. Характер изменился неузнаваемо в угоду чуждому мне, даже враждебному произволу. Былые увлечения, благородная страсть к прекрасному и возвышенному, восприимчивость к тончайшим нюансам оригинальности — все исчезло бесследно. Остались лишь — загадочный штрих — воспоминания о том, что некогда эти прекрасные движения души доставляли мне величайшее наслаждение, да еще страдание, причиняемое страшной метаморфозой.

Человек здравого смысла, трезвый и практичный, нормальный до омерзения, недруг любой эксцентричности, я вопреки частым вспышкам отчаяния, принялся бесчестить прежние идеалы. С тех пор ирония, злобная ухмылка и желчность сделались неотъемлемыми чертами моего характера, и фальшью теперь отдавали все мои поступки.

Удивительно! И все-таки я полностью отдавал себе отчет в этом неожиданном перерождении, коему бесславно пытался противопоставить добрую волю. Так вспыхнула во мне отчаянная борьба полярных начал, двух главных миропониманий — но, увы, тесное их взаимодействие было глубоко обусловлено. Почти всегда верх одерживал при-блуда, вкравшийся неведомо как; с гадливостью прислушивался я к его нашептываниям. Теория и практика странным образом уживались во мне. В теории я оставался тем же, кем был некогда, и с негодованием следил за другим — приблудным чужаком: он, словно вор, проник в тайная тайных моей души и бессовестно вышвыривал вон достояние драгоценное, подменяя его суррогатом.

Мое состояние не имело ничего общего с известным в психологии раздвоением личности, возникло мироощущение совсем иное, трудноопределимое, не связанное с прежней жизнью. Да, не раздвоение, а скорее «сдвоение» давило меня, в мое «я» вторглась некая проклятая примесь, некто новый, совсем иной поселился во мне. И я носил его в себе, то и дело калечился об это постыдное «со-бытие», в отчаянии, бессильный что-либо изменить или преодолеть. Каждый поступок, извне навязанный чужой волей, вызывал внутреннее сопротивление, любое слово, не подкрепленное внутренним убеждением, лишненное чувства, оборачивалось заведомой ложью, изъязвляло уродливым паразитическим наростом. Вскоре дело приобрело совсем скверный оборот: приблуда настолько обжился в моих мыслях, убеждениях, что собрался с силами для основательного перевеса.

Сколько бы ни старался я руководствоваться прежними принципами, смотреть на мир и людей прежними глазами, нечто властное, неколебимое веление, гнало меня фальшивой стезей, издевательский хохот распирает грудь, а где-то в отдалении косым зигзагом сверкает дьявольский зрачок.

Ненавистный себе нравственно и физически, с негодованием отвергал я столь омерзительно карикатурное новое свое естество.

Стараясь свести выходы недруга к минимуму, я надолго уединялся дома, избегал людей, ибо выражали их глаза удивление и отвращение.

Здесь, на окраине города, в тихом доме, переживал я долгие часы душевных мук, вовлеченный в поединок с невидимым врагом. Здесь, в четырех стенах, минуту за минутой анализировал навязанную мне в удел пытку.

Постепенно, в борениях с пришлым негодяем, я научился, хоть и на малое время, исключать его из своих мыслительных комбинаций. В полном одиночестве, ничем не нарушаемой тишине, мне удавалось, пусть на ничтожно малое мгновение, сконцентрировать прежнюю сущность, освободиться от назойливого вмешательства узурпатора.

Борения эти требовали поистине гигантских усилий; я уподобился титану, неимоверным напряжением мышц разъявшему и на миг удержавшему на расстоянии две неодолимо тяготеющие друг к другу полусферы, что составляют неделимое целое — шар.

И тогда, уловив благоприятный момент, я бросался к перу и бумаге, исписывал многие

страницы заметками, давно уже смутно угаданными в вихре наблюдений, но так и не сформулированными — задушенными «его» произволом. Писал я как одержимый, не переводя дыхания, судорожно скользила рука по листам бумаги, фиксируя мысли и чувства, дабы убедить некоего идеального читателя: я вовсе не тот, каким опять стану через минуту, через час.

Однако яростные мои усилия не были продолжительны. Любой звук с улицы, лицо прохожего, появление слуги — и напряженные нервы рвались, как натянутые постромки, взбугренные усилием мускулы опадали, и довлеющие себе полушария смыкались в шар — монолитный, замкнутый, безысходный. И губы кривились смехом, жалким, циничным смехом, и я, рыдая, рвал в клочья рукопись, топтал страницы...

И приходил в мир извращенным негодяем, злобным циником без веры и совести, обуреваемый низменными страстями. И снова долгие, непомерно тяжкие усилия интеллекта, отречение от людей, полное одиночество — лишь бы на миг избежать нападения ненавистной твари, изгнать ее из моей души.

Так, упорно повторяя опыты, я добился кое-каких успехов. Все дольше и дольше удавалось держать на расстоянии враждебную мне сущность, все явственнее в такие минуты ощущал я свою прежнюю индивидуальность и очищался от паразитических влияний.

Позже снова впадал в свое обычное состояние, но воспоминание о достигнутом, пусть минутном, освобождении побуждало к новым усилиям. Вскоре мне удавалось изолировать наглого чужака уже на несколько часов, пока он снова не овладевал мной.

Концентрация внимания и тщательный самоанализ на каждом шагу, неизбежные при психическом электролизе сдвоенного «я», истощали организм, взвинчивали нервы — начались внезапные головные боли.

И все-таки, едва мелькала слабая надежда обрести себя, я не щадил трудов и уже мечтал о том, чтобы безнаказанно, будучи собой прежним, появиться среди знакомых...

Однажды после довольно длительного пребывания на людях снова я скрылся от мира с известной целью и начал тяжкий труд обретения себя.

Обычные приемы на сей раз помогли быстрее, подлинная моя индивидуальность вскоре возобладала, и я впервые обратил внимание на близкое окружение, чтобы с первой же попытки научиться держать в узде свое истинное «я», несмотря на стократ сильнее внешние раздражители и отвлекающее, хотя и отдаленное, присутствие людей.

Постепенно я переключил внимание на окружающие предметы и рассеянно переводил взгляд с одной вещи на другую. Вдруг за стеной слева раздался какой-то шорох. Прислушался, однако слишком резко отвлекся на звук, и тотчас же едва обособленные сущности роковым образом опять слились — я снова перестал быть собой.

В негодовании проклинал я подозрительный шорох, который, впрочем, мог попросту мне почудиться из-за расстроенных нервов. Увы, первое усилие обрести себя и одновременно зафиксировать внимание на внешнем, хотя бы ближайшем бытии, потерпело крах.

Неудача не обескуражила меня, и через несколько дней я возобновил эксперимент.

Пока сосредоточенно концентрировал мысль на себе, за стеной не происходило ничего особенного, но стоило на мгновение отвлечься, слева опять послышался тот же таинственный шорох.

Прекрасно понимая, что сорву опыт и снова вернусь к постыдной двойственности, я тем не менее быстро выглянул из окна, в надежде открыть причину странных звуков за левой стеной.

Одноэтажный дом состоял из трех квартир. Я занимал левое крыло дома, за мной не было никаких помещений, а у глухой стены был разбит небольшой сад, обнесенный забором. В саду, как обычно, никого; да и вообще на эту сторону никогда не заходили, — оберегая мое уединение, люди деликатно миновали круглым путем даже мои окна.

Обеспокоенный, я вернулся в глубь комнаты.

А не сопутствовал ли уже давно загадочный шорох процессу дистилляции моего «я»? Возможно, занятый интенсивным внутренним поиском и записями эксперимента, я просто

не обращал внимания на звуки? И лишь некоторая отрешенность от моей едва очищенной, но не окрепшей сущности ныне позволяла ориентироваться в обстановке и различать таинственный шорох. Поначалу вовсе не убежденный в причинной связи этого феномена с опытом духовной эмансипации, я тем не менее вынужден был констатировать: связь существует, ибо шорох возникал в те мгновения, когда мне удавалось сбросить ненавистные путы.

Часто, пребывая в обычном двойственном состоянии, я прислушивался, не донесется ли из-за стены хотя бы легкое шуршание, — напрасно: глухая стена безмолвствовала.

Порой мерещилось, не оказался ли я во власти акустического заблуждения, и шорох слышится за стеной справа, где жил тихий молчаливый холостяк. Но и это предположение пришлось отбросить, внимательно сопоставив звуки...

Шуршало только за левой торцовой стеной, где ничего не было. Пустота. Не странно ли?

И я приступил к тщательному обследованию левой стены, ибо шелесты при моих опытах не прекращались.

Вскоре сомнений не осталось: за стеной есть какое-то пространство — постукивания отзывались глухим эхом.

Догадка подтвердилась и наблюдениями с улицы. Внимательный осмотр левого крыла привел к поразительному открытию: от угла, где сходились две стены строения, до крайнего окна по меньшей мере четыре метра; левая стена в моей комнате удалена от окна едва на метр — неужели толщина торцовой стены составляет три метра — для жилого дома по меньшей мере странно! Очевидно, за стеной находилось еще какое-то помещение, замурованное, без дверей и окон. Оттуда, по-видимому, и доносился странный шорох.

Обеспокоенный открытием, довольно долго я не выходил из дому, целыми часами предаваясь самоконцентрации. Правда, опыты давались с трудом — слишком часто я отвлекался, прислушиваясь к голосу пустоты. Да, так в моей цели не преуспеть; снова и снова я углублялся в себя и, только убедившись, что вновь обретенная мною свобода в силах противостоять внешнему миру, я начинал прислушиваться к шорохам в замурованной комнате.

Вскоре научился улавливать явственные оттенки, некий определенный звукоряд. Когда удавалось углубить процесс высвобождения и я ощущал себя более независимым от чужеродного влияния, чем обычно, звуки усиливались: что-то беспокойно сновало, билось в замкнутом пространстве вдоль стены, в бессильной ярости металось из угла в угол.

Когда же, подавленный чуждым естеством, я пассивно уступал несчастной двойственности — отголоски за стеной умиротворенно затихали.

Нечто загадочное, в высшей степени подстрекавшее любопытство, не давало покоя и холодным страхом перехватывало горло.

Позже, пока я изнемогал в борьбе с ненавистным врагом, компенсируя свою ущербность и утверждая собственное высокое «я», там, за стеной, вегетировало нечто, нарождалось чье-то бытие... Измученный неизвестностью, я решил пробить стену и вторгнуться в глухое пространство.

Действовать следовало, разумеется, осторожно и методично — не спугнуть бы странное существо. Едва удавалось прислушаться к таинственным движениям — все смолкало, а я вопреки своей воле раздражался дьявольским хохотом и опять оказывался во власти моего alter ego.

— Вот наглая бестия, — негодовал я, несколько успокоясь после загадочного пароксизма хохота. — Ну погоди, доберусь до тебя, не уйдешь. Захватить бы эту тварь врасплох...

Не медля долее, я решил исполнить задуманное. Начертил мелом на стене четырехугольник, более или менее отвечающий моему росту, отбил штукатурку, осторожно стесал острым инструментом поверхность стены, так что осталась лишь тонкая перегородка: по моим расчетам, такая перегородка развалится от одного удара.

В тот же вечер закончив подготовку, я решил ворваться в замурованную комнату и захватить это «нечто», столь долго не дававшее мне покоя.

Дождило, мир погрузился в унылую осеннюю слякоть. Ранние сумерки пряли на узких пригородных улочках серые нити густого тумана, сочились сквозь слезящиеся решета обнаженных деревьев. Редкие фонари, будто погребальные свечи, отбрасывали желтые полосы, умиравшие в набухшем сыростью пространстве. Мокрые, осклизлые возы тащились по дороге, клацающая продетыми в колеса цепями...

Я опустил шторы и зажег лампу.

Судорожное беспокойство ворожило неведомое. Положив усталую голову на руки, я углубился в тяжкий опыт высвобождения. Как обычно, вспоминал свой прежний характер, привычки, привязанности; отдавался канувшим в прошлое порывам, вживался в столь естественные прежде переживания, в которых до болезни моя индивидуальность воплощалась наиболее полно. Наконец устремился в глубины сознания, обретая подлинную сущность своего «я».

О счастье! Я снова тот светлый человек, с надеждой и верой смотрю в будущее, грудь моя полнится любовью к добру и красоте, восхищением жизнью и ее таинственным очарованием! Еще мгновение — и я освобожусь, уже удалось нейтрализовать насилие, вот оно, мое чистейшее свободное «я»...

Быстрым взглядом окидываю комнату. Тотчас же с левой стороны в мое одиночество врывается шум: за стеной что-то бьется об пол, бросается наверх, к потолку, отчаянно царапает стены, содрогается в конвульсиях безысходных мучений...

Затаив дыхание, я прислушивался, стиснув в руках кирку.

Через мгновение все замерло, и вдруг раздались быстрые, нервные шаги. За стеной кто-то ходил из угла в угол.

Я поднял кирку, изо всех сил ударил в тонкую перегородку.

Посыпался щебень, открылся узкий черный пролом.

Ворвался... Оглушительная могильная тишина.

В лицо пахнуло спертым гнилым воздухом давно замурованного пространства.

Темень на миг поразила слепотой. Но следом за мной через пролом в пустоту прокрался длинный луч лампы и, клином лизнув пол, осветил угол...

Дрожь безграничного ужаса парализовала меня, я выронил кирку...

Там, в углу, в стену вжалось человеческое существо — косящий зеленый зрачок впился в меня: покорно, влекомый будто магнитом, этим взглядом, я приблизился. Существо выпрямилось, неестественно огромное... Бжехва!..

Он стоял безмолвный, лишь шевелились кончики усов. Внезапно нагнулся, сдавил меня руками, навалился... и вошел, вторгся в меня...

Оглушенный, я выбежал в комнату, схватил со стола лампу и снова ворвался в пролом. Пустота. Никого. Паутина, на стенах потеками холодных слез ползет сырость.

Вдруг что-то захрипело, засипело, захлебываясь, завывало...

Господи, что это?!

— Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Ха-ха-ха-а-а-а!!! — эхом билось об стены.